

Дискуссии и обсуждения

© 2011 г. В. Л. ШЕЙНИС*

РУССКАЯ ИСТОРИЯ ОТ ГАВРИИЛА ПОПОВА

Помнится, еще в юные годы мои друзья и я, неожиданно открыв для себя «Историю государства российского от Гостомысла...» А.К. Толстого, восхитились, как сказали бы теперь, альтернативной версией нашей истории. Привлекало все: великолепный стих, лукавая ирония, и особенно иное, чем в скучных школьных учебниках, прочтение истории – «все не так, ребята!». К сожалению, поэт обрывал свое повествование в самом интересном месте: «Ходить бывает склизко / По камешкам иным, / Итак, о том, что близко, / Мы лучше умолчим». Известный ученый и общественный деятель, сам в недавние годы поучаствовавший в сотворении российской истории, Г.Х. Попов такого умолчания избежал. Его «История», задуманная как цикл изящно оформленных книг под общим названием «Мне на шею бросается век-волкодав» (у О. Мандельштама – «Мне на плечи...»), не просто сконцентрирована на последних полутора веках нашего прошлого и доведена до Горбачева и Ельцина, но пронизана злобой сегодняшнего дня, просмотрена под углом последующего трагического опыта. Это самая что ни на есть альтернативная история.

С самого начала автор заявляет суть своего подхода – «переосмысление судеб России в XX веке», переоценка официальной концепции российской истории – советской и, я бы добавил, постсоветской (как ее стали внедрять в общественное сознание авторы разухабистых «исторических» передач на телевидении, желтых поделок, заполонивших прилавки книжных магазинов, и учебников, снискавших одобрение высочайших лиц). Попов решительно отвергает прогрессивность «строга государственно-бюрократического социализма»: на протяжении большей части XX в., убежден он и объясняет читателю, страна шла по тупиковому пути.

Автор – не профессиональный историк. Но он отлично владеет исторической литературой и, отгалкиваясь от фактов, не укладывающихся в принятые трактовки ключевых явлений, сначала ставит под сомнение сами эти трактовки, а затем приходит к переоценке базовых представлений о прошлом и настоящем нашего общества. Этот метод был им успешно применен на заре перестройки. Отгалкиваясь от сюжета прорвавшегося, наконец, к читателю романа А.А. Бека, он на страницах подцензурного тогда еще журнала нарисовал выразительную и убийственную картину разложения советского общественного порядка, которому он дал имя Административной системы¹. Попов – концептуалист, мастер возведения неожиданных логических конструкций, нетривиального взгляда на обыденное и привычное – выступает теперь с целостной, последовательной и оригинальной концепцией большой исторической эпохи. Отбрасывая мифы и опрокидывая стереотипы, он, на мой взгляд, подчас увлекается, иногда пренебрегает проверкой приводимых фактов. Но работа его, свободно и легко написанная, адресованная широкой аудитории, в первую очередь тем, чьи исторические познания забетонированы как раз стереотипами, заставляет взглянуть на вещи критически, будит мысль и развязывает дискуссию, что само уже одно из ее достоинств. Работ подобного рода, сквозным образом просвечивающих историю страны за столь длительный период, у нас не так много. Остановимся же вслед за автором на некоторых важнейших этапах жестокой и поучительной истории России XX в.

* Шейнис Виктор Леонидович, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Свобода есть рабство, или ленинский тупик²

В знаменитой антиутопии Д. Оруэлла изречение, вынесенное здесь в подзаголовок, – не более чем циничное преобразование смыслов в тоталитарном государстве. Великое искушение, которому поддались также и некоторые серьезные авторы, – счесть тоталитаризм (наверное, худшее, что принес XX в.) порождением злодейских замыслов и деяний человеконенавистников и властолюбцев. В некоторых странах, возможно, так и было. И в российской революции изначально было немало самого изощренного злодейства. Но «дорога к рабству», описанная Ф. Хайеком, была проложена также и утопией, не чуждой идее свободы. Как (и почему именно так) была пройдена главная историческая развилка, к которой подошла Россия в начале XX в., какие превращения претерпевала марксистская версия социализма на российской почве, какой отпечаток на нашу историю наложили мысль и воля Ленина – об этом одна из книг цикла «век-волкодав» Г. Попова.

Ленин, утверждает автор, ошибся «в двух самых главных вопросах своей жизни» – о русской и мировой революции (с. 31). Это так. Ленин – революционер *par excellence*. Между тем главные и неотложные проблемы, к которым объективный ход вещей подвел Россию в начале XX в., – прежде всего, преобразование полуфеодально-общинной деревни и средневековой монархии – теоретически могли быть решены двояким путем: революцией или реформой. Собственно, на путь реформ сверху под давлением революции 1905–1907 гг. страна уже вернулась. Попов справедливо оценивает программу столыпинских реформ как «одну из лучших реформаторских программ российской истории» (с. 98). Реформа уже обрела логику саморазвития, и П.А. Столыпин, вероятно, был прав, когда говорил: дайте 20 лет покоя, и мы преобразим Россию. Но такого срока не было ни у «курса реформ», ни у самого реформатора. И дело не только в том, что на стороне реформ не было влиятельных общественных сил.

В российской политической системе переход к реформам, даже когда они объективно назрели, в решающей мере предопределяла воля верховного правителя. Александр II оказался в состоянии ответить на вызов времени. Его внук, озабоченный тем, как бы в возможно более неизменном виде передать сыну доставшееся от предков наследие, – нет. «В критический период в самодержавной стране именно самодержец оказался самым слабым звеном, – пишет Попов. – Именно лично из-за царя запаздывание с реформами превратилось в опоздание, а тяжелейшая болезнь стала неизлечимой» (с. 109). К несчастью, он стал не только «могильщиком: и себя, и своей семье, и своей монархии» (с. 109), но и одним из главных виновников того, что на решающей развилке страна пошла по пути не реформ, а кровавой революции и в чуть дальней перспективе – в исторический тупик.

Конечно, в марте 1917 г. далеко не все было предопределено. Но энергия, страсть, интеллектуальное превосходство Ленина, его феноменальная способность извлекать уроки из событий, принимавших неожиданный оборот (в том числе учиться и у Столыпина), убеждать своих сторонников в собственной правоте, показывает Попов, помогали ему вырывать из тупиков, неизменно возникавших еще с юности в его жизни, находить обходные пути и добиваться результатов, отвечавших его главной установке: через революцию – к власти. По ходу дела – пересматривать не только политическую стратегию и тактику, но и саму теоретическую концепцию социализма. Пока в конце жизни, одержав победы там, где, казалось, его ждали неминуемые поражения, он не был сражен неизлечимой болезнью в не столь уж преклонном возрасте. Он оказался в идейном тупике, который, как предполагает Попов, и вызвал болезнь его мозга (с. 419).

Так это или нет, нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Справедливо, однако, что некоторые доктринальные тупики действительно возникли после революции. И Ленин настойчиво искал выход, изобретая причудливые паллиативные решения, но надежно состыковать их с исходной доктриной так и не сумел. Первый тупик – что делать со 100 млн крестьян, с которыми нельзя поступить так, как со 100 тыс. помещиков?

Крестьянство приняло нэп, который буквально в последний момент «спас и Ленина, и советскую власть», предотвратил «всеобщее восстание крестьян с перспективой привлечь на свою сторону, состоящую в основном из крестьян Красную армию» (с. 315). Но нэповская деревня продуцирует среднее (и богатеее) крестьянство. Бедняки, которые по теории должны стать социальной опорой социалистической революции, вовсе не рвутся к эффективной работе (в коммунах), развращены подачками и льготами. К тому же типы индустриализации – нужный крестьянству (упор на легкую промышленность) и необходимый для противостояния миру капитала (тяжелая и военная промышленность) не стыкуются. Экономически подминающееся крестьянство вскоре займет свои политические требования (с. 315–320).

Второй тупик – проникающий во все государственные структуры, поглощающий все «правильные» предписания верховной власти бюрократизм. По теории при капитализме он неизбежен, с ним приходилось мириться в годы военного коммунизма с его упором на командные методы. Но он пышным цветом расцветает и при нэпе, приобретает всеобщий характер, хотя он и «очевидный антипод торговли и рынка» (с. 345). И приходится признать: помимо извращений, «нарывов», существует и сама неизлечимая болезнь. Раз преодоление государства, переход к безгосударственному обществу, так захватывающе описанные Лениным в «Государстве и революции» не далее как летом 1917 г., в лучшем случае отдаленное будущее. Раз приходится «административно “сшивать” еще не сросшиеся реальные части хозяйства». Раз «отсутствие готовой и необходимой социализму экономики приходится компенсировать усилиями аппарата» (с. 342–344). Ленин приходит к тому, что явление, которое он именуется бюрократизмом, во-первых, главная опасность, а во-вторых, неустрашимое. Его нельзя отсечь, болезнь приходится лечить, но средства, которые придумывает Ленин, – нагромождение контрольных органов – лишь увеличивает аппарат, расширяет его функции и тем самым увековечивает то, что вождю кажется извращением «диктатуры пролетариата». Попов, который знает, что из всего этого получилось, справедливо отмечает, что бюрократизм органичен строю, который он называет государственным социализмом. Автор (а не Ленин) приходит к выводу, что аппарат государства смог освободиться «от создавших его сил», приобрел «такую самостоятельность от системы, что стал жить своей собственной жизнью, по своим законам, в соответствии со своими интересами. Это подсистема, преодолевшая роль подсистемы» (с. 324).

Третий тупик, по Попову, – мировая революция. Она запаздывает. Отсюда Брестский мир, от тяжелых и унижительных условий которого спасает не германский пролетариат, а решительная победа одной империалистической коалиции над другой. Отсюда провал Советской Венгрии. Отсюда поражение похода, нацеленного то ли на Польшу, то ли на Германию. И два горьких урока. Первый: Красная армия, победившая формирования белых, состязания с польской армией, созданной по европейским стандартам, не выдерживает. Второй еще горше: «В столкновении национального и классового побеждает национальное» (с. 380–381). Я думаю, что автор переоценивает осознание Лениным «основного: мировая революция захлебнулась, оказалась в тупике» (с. 410). Ведь потрясения 1923 г. в Германии, успехи китайской революции 1925–1927 гг. еще впереди, а успешная советизация южных и восточных окраин царской России, происходившая, хотя и не без проблем, у него на глазах, могли подогревать надежды, что «империализм» будет «атакован с тыла».

Анализ «тупиков», предпринятый автором, безусловно, интересен. Но необходимо подчеркнуть, что тупики эти имеют отношение к идеологии, а не к реальному развитию политических процессов. Утопическая модель общества, столь дорогая социалистам, в принципе недостижима, а не просто преждевременна в начале XX в. На исходе предыдущего столетия Энгельс авторитетно заявил, что социализм превратился из утопии в науку. Марксистский социализм действительно содержал некоторые научные элементы, отвечавшие экономическим и социальным реалиям своего времени. Но относились они к анализу капиталистического производства и общества (хотя и здесь важные выводы оказались ошибочными). Учение же о социализме, идущем на

смену капитализму, оказалось утопическим в своей основе. Ленин не мог не увидеть несочетаемость доктрины с российскими послереволюционными реалиями. Но система, основы которой были заложены еще при Ленине (и под его руководством), выходы из означенных тупиков и противоречий (на срок жизни нескольких поколений) нашла. Какой ценой и с какими последствиями – иной вопрос. Но известного переосмысления стратегии все это требовало.

По отношению к крестьянству выход был найден в новом издании крепостничества. И сделано это было с применением таких средств насилия, которые были еще невымыслимы при подавлении Кронштадта и восстания на Тамбовщине. «Администрирование», которое казалось Ленину «бюрократическими извращениями» режима, стало каркасом системы. Фантом мировой социалистической революции сменился державным натиском «мировой социалистической системы» на всех континентах. Не практику приспособляли к постулатам доктрины, а корректировали саму доктрину. И посредством изощреннейшей пропагандистской эквилибристики, идеологического (и полицейского) террора удавалось внушать миллионам людей, что духовная преемственность с гуманистическими идеями социализма не нарушена, что рабство – это и есть самая доподлинная свобода.

Преемственность «победившего», «зрелого», «реального» социализма по отношению к Октябрю и ленинскому периоду бесспорна. «Базисные идеи концепции административного социализма сформировались не И.В. Сталиным», они восходят к партийной программе, составленной Лениным и утвержденной еще в 1919 г., считает Попов (с. 257). Это справедливо. Постройка возведена по чертежу, главные линии которого были прочерчены (и стали воплощаться в жизнь) еще Лениным. Здесь, однако, возникает вопрос о качестве самого чертежа, о его соответствии идеям социализма и о соответствии этих идей реалиям общественного развития в XX в. Попытаюсь объяснить. Ленин, полагает Попов, размышляя над отяготившими социалистическую практику проблемами, «стал приближаться к идее другого, немарксистского социализма. По существу, к генеральной идее даже не социализма, а постиндустриализма» (с. 414). Здесь нелишне было бы уточнить, что понимает автор под этими понятиями. По смыслу сказанного можно предположить, что в Ленине он видит своего рода претечку современной, немарксистской версии социализма, переходящей в постиндустриализм.

Важное место в книге занимает изложение критики Ленина Плехановым: он-то, утверждает автор, в приписываемом ему «Завещании» постиндустриализм, предвосхитил. Поскольку принадлежность этого, недавно опубликованного документа, Плеханову (особенно в той части, где рассматриваются современные проблемы) спорна, расхождения между Лениным и Плехановым лучше, по-моему, рассматривать, опираясь на прижизненные, в том числе последние публикации Плеханова. Критика Ленина, ленинской стратегии, Октябрьского переворота ведется в них с позиций классического марксизма. Плеханов, как и Ленин, исходит из того, что за капитализмом следует социализм. Иными словами, при всех расхождениях (а ближе к истине оказался Плеханов) оба они ведут спор на почве одной теоретической парадигмы. На мой взгляд, ложной.

Бесспорно, что гуманистические идеи социализма (равенство, солидарность, ответственность общества за каждого и т.д.) сыграли выдающуюся роль в истории человечества. Можно согласиться и с тем, что современное общество в своих наиболее развитых сегментах («постиндустриальных», по Попову) вбирает и в той или иной мере реализует некоторые из этих идей. Вместе с ничуть не менее значимыми идеями либерализма, свободы и прав человека, хотя совмещение тех и других ставит непростые проблемы. Ошибочен же вывод «научного социализма» о социализме как особой формации. И тем более ошибочна была «самая главная идея Ленина... что человечество уже сейчас созрело до социализма» (с. 124). Все попытки прорыва к нему обернулись невероятными бедствиями.

Дело, однако, не в том, что в начале XX в. ни Россия, ни мир в целом до социализма не доросли (как полагал Плеханов и его единомышленники). И не в том, что Ленин

ошибочно расценил военную экономику Германии как такой уровень обобществления производства, который дает завершённые предпосылки социализма (с. 234). Построенная на этом теоретическом уровне стратегия была авантюрна, потому что не верна сама идея социализма как такого общественного порядка, в котором упразднена (или в более мягком, «ревизионистском» варианте – оттеснена с командных высот в экономике) частная собственность, преодолён частный интерес, рынок заменён планом, его конкурентные механизмы – административным управлением в масштабе общества (как это происходит на фабрике или в казарме) и т.д. Все это – фундаментальные, инвариантные черты теоретической модели социализма. Их-то и попытались воспроизвести при военном коммунизме. Попов показывает, что не Гражданская война породила «первую модель социалистической экономики», а попытки ее внедрения: введение рабочего контроля на производстве, а затем и «красногвардейская атака на капитал» спровоцировали Гражданскую войну (во всяком случае, придали ей колоссальный размах), привели к параличу промышленности, а затем по цепочке потянули голод в городах, реквизиции в деревне, переход значительной части крестьян на сторону противников большевистской власти и т.д. (с. 188–196).

Переход к нэпу под угрозой утраты власти привел, конечно, к некоторой рационализации системы. Но теоретическая модель социализма не была подвергнута принципиальному пересмотру. Идеология поворота к нэпу, осуществленного к тому же методами военного коммунизма, была заявлена с предельной откровенностью. Хотя военный коммунизм был навязан крайней нуждой, войной и разорением, говорил Ленин, он не был ошибкой. Более того, «его надо поставить нам в заслугу». Ибо «прежняя наша программа», оказавшись «практически несостоятельной, была теоретически правильной»³. Сохранение «командных высот» в руках государства, ограниченный характер рыночных отношений ни Лениным, ни его последователями никогда не ставились под сомнение.

В ряде статей и «диктовок» последних лет жизни Ленина Попов стремится найти переход к «третьей» версии социализма, к «постиндустриальному строю» (с. 414, 418). Но требование, чтобы госорганы закрыли плохо работающие заводы, – это еще далеко не признание санирующей роли рынка. Утверждение, что «строй цивилизованных кооператоров... это и есть строй социализма» – это не признание «многосекторной экономики» и равноправного состязания с госсобственностью «негосударственных видов собственности» (с. 414, 416). Ленин, видя бесконечные злоупотребления, действительно был крайне озабочен учреждением системы эффективного контроля, но все придуманные им средства – по сути административные, не говоря уж о том, что никакой эффективный контроль невозможен вне ауры экономической и политической конкуренции. Так обстоит дело с теоретическими воззрениями Ленина. Как это преломлялось на практике?

Альфа и омега стратегии и тактики ленинизма – вопрос о власти. Партия строилась как инструмент захвата власти со II съезда в 1903 г. Под углом прорыва к власти в крестьянской стране корректировалась аграрная программа большевиков – не смущал и отход от классических марксистских канонов. Для удержания власти буквально на второй день после революции стал формироваться мощный, опирающийся на безудержное насилие аппарат власти меньшинства – диктатуры пролетариата, совсем не похожий на идиллическую картину, нарисованную Лениным за несколько месяцев до того в «Государстве и революции». Для обслуживания тех же практических нужд классическая концепция социализма как «итога» обобществления производительных сил старого строя была заменена принципиально другой концепцией его «внедрения» с помощью государства – концепцией «уже во многом близкой идеям всех “бесов” русского утопического социализма, начиная с созданного гением Достоевского знаменитого Петруши Верховенского» (с. 232–233). Соответствующую интерпретацию получает диктатура пролетариата, по поводу которой Ленин яростно (ярость – вообще излюбленный стиль ленинской полемики), без оглядки на элементарные приличия, спорит с К. Каутским.

К 1922 г. система политической власти, нареченная диктатурой пролетариата, в основном была достроена. В ней оставался, однако, один существенный пробел, по поводу которого с нарастающей тревогой высказывал озабоченность Ленин. Оппозиционные партии, как буржуазные, так и социалистические, были запрещены, их лидеры арестованы или изгнаны из страны, свобода печати уничтожена, а «философские пароходы» увозили в эмиграцию тех, кто представлял верхний культурный слой российского общества. Вне правящей партии организованных политических сил, способных бросить вызов ее политической монополии, не осталось. Проблема, однако, заключалась в самой партии, колоссально разросшейся, несмотря на начавшиеся чистки.

Треволнения Ленина, обострившиеся по мере того, как усиливалась его болезнь, Попов объясняет, с одной стороны, идейным тупиком, в который зашел вождь, утратой перспективы перед лицом нараставших противоречий. Их отзвуки доходили к нему вопреки установленному для него режиму изоляции (с. 419–420). А с другой стороны – опасениями, что фактическая утрата им рычагов влияния завершится формальным смещением на ближайшем съезде (с. 422–423). Тем и другим были продиктованы, полагает автор, последние предложения Ленина, призванные компенсировать очевидные дефекты монополии политической власти. Ведь монополия, как он не раз утверждал, ведет к загниванию.

Главное место в ленинском «завещании» занимают проект реорганизации контрольных органов и характеристики членов политбюро (кроме Молотова и Калинина, очевидно, не игравших политической роли, но с включением Пятакова, который в политбюро не входил). Недоброжелатели говорили, что Ленин оценивал своих соратников так же, как Собакевич губернских чиновников. Попов полагает, что таким способом он блокировал продвижение каждого из них на ту роль, которую исполнял сам (с. 445–465). Читатель вправе оценить, насколько достоверна аргументация автора, хотя она и содержит немало тонких наблюдений. Меня она не убеждает. Во-первых, потому что персоналистский режим с беспрекословным подчинением всех первому лицу в партии и государстве еще не сложился. Ленин был первым, но не единственным лидером. Это его положение меньше всего определялось формальным статусом предсовнаркома, и сместить его было некуда и незачем, а ослабление его влияния определялось исключительно болезнью. Во-вторых, Ленин был последователен во всем, что касалось власти. Внимательное прочтение его трудов приводит к тому, что эти предложения диктовались иной логикой, другими опасениями и мотивациями. «Политика партии, – писал он в марте 1922 г., – определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него»⁴. Иными словами, сохранение власти зависит не от пролетариата и даже не от партии, а от монополии позиции ее «тончайшего слоя», который зиждется на такой зыбкой и преходящей субстанции, как его авторитет.

Чтобы отвести беду, основатель партии придумал два противоядия. Во-первых, запрет фракций с собственными платформами, организацией и т.п. Острая внутривнутрипартийная дискуссия, предшествовавшая X съезду и завершившаяся на нем, была сочтена вредной. Резолюция «О единстве партии», утвержденная на этом съезде, была не первым и далеко не последним шагом к установлению в ней такого режима, который его наследник по другому поводу назовет аракачевским. Жупел фракционности чем дальше, тем больше стал использоваться для подавления любого несогласия с мнением, утвердившимся в партийной верхушке, и прямой дорогой вел к омертвлению тканей в единственной легальной политической партии, к насаждению армейской дисциплины там, где еще недавно кипели споры. Не думаю, что Ленин при всей авторитарности своего характера это предвидел и этого хотел. Во-вторых, Ленина тревожило соперничество двух наиболее вероятных наследников – Сталина и Троцкого, в чем он усматривал «большую половину опасности... раскола» самого «тончайшего слоя» партийной элиты. Купировать эту опасность предлагалось двояким образом: перемещением

Сталина (которого несмотря на инцидент с Крупской он продолжал считать полезным товарищем) с поста генсека и увеличением числа членов ЦК партии до 50 или 100 человек за счет рабочих, а ЦКК – привлечением новых членов из рабочих и крестьян⁵. Ленин, как и многие коммунисты его поколения, мистически верил в исключительно полезные для партии качества рабочих, усвоивших пролетарскую психологию в результате «многих лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей». А отсюда – в эффективность контроля над бюрократическим советским аппаратом и исцеление самой партии от бюрократизма путем увеличения числа бюрократов в политических и контрольных органах, но за счет призыва туда людей рабочего происхождения. Как известно, ни первое, ни второе предложения Ленина исполнены не были, поскольку они шли вразрез с общим интересом овладевшей властью новой бюрократии и частными интересами группы лиц, вставших у руля. Ленин ошибся. Погибель утопии, которую он тщетно пытался реанимировать, таилась не в расколе, а в той трансформации партии и ее элиты, у истоков которой стоял он сам и которая к моменту его смерти зашла достаточно далеко.

Сталинский «социализм», или призрак, обернувшийся вурдалаком⁶

Почитатели Сталина любят повторять слова, придуманные кем-то из них и приписанные Черчиллю: Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Сохой или плугом обрабатывали крестьяне землю, когда Сталин утверждался у власти, но к концу нэпа интенсивно шло развитие сельского хозяйства, а в начале 1950-х гг. – знаю по собственным наблюдениям в студенческих стройотрядах – деревня жила бедно и скудно, и колхозники, посмотрев в сельском клубе фальшивую поделку «Кубанские казаки», сокрушенно восклицали: где-то же живут люди по-человечески! Во всяком случае, выступая на пленуме ЦК партии в сентябре 1953 г., Н.С. Хрущев привел данные, согласно которым падение производства в животноводстве по сравнению с 1928 г. было катастрофическим. Не многим лучше обстояло дело и в зерновом хозяйстве, несмотря на высокие показатели механизации сельскохозяйственных работ⁷. Что же касается атомной бомбы, заимел ее СССР благодаря сверхконцентрации ресурсов в ВПК и успехам советского промышленного шпионажа. Сталин, правда, полагал, что «атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решать судьбу войны»⁸. И нужны они были ему главным образом для того, чтобы насаждать просоветские режимы в Восточной Европе, не опасаясь серьезных международных осложнений.

Мотивы, назначение, способы проведения и последствия сталинской коллективизации и индустриализации – в центре третьей книги Попова. В замысле и способе проведения коллективизации сомкнулись две задачи: «получить хлеб для индустриализации и ликвидировать последний класс частных собственников» (с. 97). Хлеб для индустриализации – задаром или по смехотворно низким ценам, что не только подрывало воспроизводство в сельском хозяйстве, но и обрекало крестьян на нищенское, полуголодное существование. Ликвидация же класса в ленинско-сталинском варианте включала не только экспроприацию собственности, но и широкое применение репрессий, голодомор 1932–1933 гг., существенное ухудшение условий жизни и быта большинства населения страны (с. 113–115, 121–123). В правовом и экономическом отношении деревня стала внутренней колонией, нещадно эксплуатируемой и разоряемой в интересах первоначального накопления. И не зря В. Молотов, немалод перевидавший на своем веку, под конец жизни оценил коллективизацию как «гораздо более весомое историческое событие, чем победу в Великой Отечественной войне» (с. 88).

Три аспекта сталинского «менеджмента» привлекают особое внимание автора. Первое. Личный вклад Сталина в теорию и практику государственного социализма – колхозная модель. В ней сочетались реликтовые черты общинного строя, не добытого реформой Столыпина, – солидарная ответственность крестьянского коллектива, исполняющего государственные повинности; оброчная система (госпоставки); барщина

(отработка на колхозном поле за право кормиться с приусадебного участка); административное прикрепление крестьянина к колхозу как подновленный вариант крепостничества; и сверх того – система экономического и политического контроля через партийные и государственные органы на селе, политотделы МТС и т.д. (с. 102–107). Второе. Объяснение, почему массы крестьян, за 10 лет до того заставившие правящую партию совершить переход к нэпу, не ответили на чудовищное насилие, ломавшее всю их жизнь, всеобщим восстанием. Потому, говорит автор, что они были расколоты и изолированы в стране и в самой деревне. Против них были двинуты кадры партии, ОГПУ, нарастившее репрессивный опыт, деревенское отребье – пауперы, привлеченные вознаграждением при разделе чужого имущества, городское население, озлобленное очередями и введением хлебных карточек. Не получили крестьяне поддержки и со стороны эмиграции, в рядах которой еще было немало людей, обладавших военной подготовкой. Не было уже на селе и большей части оружия, остававшегося со времени войны (с. 118–120). И третье. Коллективизация стала раковой опухолью советского социализма, символом его тупикового характера: колхозы, выполнив свою роль в сборе дани для нужд индустриализации, в итоге оказались «дырявой бочкой». Все предпринятые в послесталинский период попытки перенаправить через них ресурсы для подъема сельского хозяйства неизменно проваливались «Этот насос был пригоден только для выкачивания, но не для накачивания средств... Колхозный строй стал кладбищем, на котором гибли государственные ресурсы, техника, помощь заводов, труд горожан и т.д.» (с. 109, 130–131).

На первый взгляд, более обнадеживающие результаты дала индустриализация. Действительно, при переходе от доиндустриального технологического способа производства, при котором преобладает ручной труд, к индустриальному, к той его стадии, на которой доминируют добыча сырья и изготовление относительно несложных или типовых промышленных изделий, сказались преимущества, которые дают высокоцентрализованное производство («вся экономика впервые в истории оказалась в одних руках»), концентрация инвестиций, освоение зарубежных технологий и т.д. Кроме того, советская индустриализация опиралась на такие факторы, которые обычно опускаются в апологетической литературе: заделы, оставленные русскими капиталистами, низкую заработную плату и экономию на социальных издержках, приток рабочей силы из деревни, почти даровой труд быстро пополнявшейся и административно перемещаемой армии заключенных, вывоз золота и экспроприированных культурных ценностей (с. 141–151). Все это дало советскому «большому скачку» высокий старт и впечатляющий размах.

Мне кажется, что автор несколько недооценивает результаты советской индустриализации. СССР в 1941 г. опережал чуть ли не весь мир по объему вооружений, утверждает он, но оно было устаревшим (с. 170–171). Так ли? Чуть далее, танк Т-34 представлен как лучший танк Второй мировой войны, а реактивная установка «Катюша» – как гордость Красной армии (с. 220, 298). В том-то и дело, что на начальном этапе войны (не говоря уж о последующих) СССР превосходил Германию не только количеством, но и качеством многих своих вооружений. Значительная часть великолепного советского оружия была просто брошена при отступлении в первые дни войны⁹. Но вина в том – не советской военной промышленности, а тех начальствовавших кадров, которые были отобраны сталинской системой их «подбора и расстановки».

В главном, говоря об индустриализации, автор прав. Экономическая и социальная цена промышленного развития была непомерной. «Индустрия социализма» идеально отвечала задачам военного производства (отчего и были достигнуты здесь замечательные прорывы). Вообще же сталинский завод, как и колхоз, были выдающимися не только экономическими, но и социальными изобретениями вождя. Они не только стали основными звеньями соответствующих отраслей хозяйства, но и своего рода нефеодалными доменами правящей бюрократии, местами прикрепления и закрепощения и работников, и членов их семей (с. 155–166, 183). Небезуспешно решая задачи превращения преимущественно аграрной страны в индустриальную, деревенской –

в городскую, сталинская индустриализация формировала крепостную систему, неотъемлемыми чертами которой становились дефицит и инвестиционных, и потребительских благ (Попов ссылается на замечательную работу венгерского ученого Я. Корнай¹⁰), постоянные заимствования чужого оборудования и опыта, научно-техническое отставание, милитаризация (с. 166–174). И чем дальше, тем яснее становился тупиковый характер избранного пути, несоответствие такой системы императивам современного развития.

Что же все-таки обеспечило долгожитие сталинской модели? Автор объективен. Он показывает, что она держалась не только на политическом и полицейском контроле. Проводились, хотя и по остаточному принципу, определенные меры по подъему (правда, от исключительно низкого уровня) благосостояния населения, а со временем появились и более или менее заметные ниши для устройства человека в этом искусственно выстроенном обществе (с. 174–184). Была ли стабильность в силу всего этого присуща сталинскому социализму, как утверждает автор? Применительно к собственно сталинскому периоду – довольно спорно. Но то, что именно стабильность после всех потрясений и испытаний Отечественной войны очень высоко оценивалась большинством граждан страны, очевидно (с. 185). И она была не просто оборотной стороной «застоя» (с. 185). То был мощный фактор деформации общественного сознания (или подсознания), сформировавший массовый тип работника – «лукавого и ленивого раба», как его назвала академик Т.И. Заславская, члена общества, легко принимающего установившийся порядок вещей, свое место в нем, авторитарные методы управления, право власти карать и миловать своих подданных. Правда, подавление одних не исключало продвижения других по каналам вертикальной мобильности. Множились парадоксальные ситуации. Одаренный человек, сын «крепкого» крестьянина мог стать признанным поэтом, сталинским лауреатом, войти в состав ЦК партии. А его сосланный «раскулаченный» брат тайком пробирался в родные места на короткие свидания с родными.

Индустриализация и коллективизация – несущие конструкции сталинского плана построения «социализма». Попов рассматривает различные составляющие принятой к исполнению программы: экономическую модель, крестьянский вопрос, концепцию государства, место партии – и приходит к заключению: «базисные идеи концепции административного социализма были сформированы не после 1929 г. и не Сталиным» (с. 81). Коррективы, вносившиеся Сталиным по ходу дела в официальную идеологию, не были, отмечает автор, столь значительны, чтобы пересматривать программу партии или даже замещать какие-то ее блоки. Ревизию классического марксизма начал Ленин, неверно оценивший и уровень капиталистического развития России, и состояние европейских обществ, будто бы вплотную подошедших в годы Первой мировой войны к осуществлению социалистической утопии. А когда оказалось, что на предусмотренную доктриной помощь западноевропейского пролетариата, во всяком случае немедленную, рассчитывать не приходится, была выдвинута концепция созидания социализма в отсталой и разоренной войнами стране силами новой власти. Социализма, который наступает не в силу объективных подготовивших его процессов, а потому, что «его *хотят и внедряют* марксисты, т.е. нечто принципиально чуждое идеям научного коммунизма» (с. 55). Эта концепция эскизно была намечена в партийной программе, принятой в 1919 г., и конкретизирована Сталиным.

Все это верно и актуально. Критика сталинизма с позиций «неискаженного» ленинизма помогала просветлению людей в годы предельно замутненного сознания. Но она и поныне сохраняет кредит доверия в немалочисленных кругах нашего общества. Попов осторожен: хотя он всячески подчеркивает, что сталинизм вырос из ленинизма, его «законное дитя... но он именно дитя, уже *отличный* от матери *новый организм*» (с. 84). Принимая этот вывод, я бы все же сделал две оговорки. Во-первых, мне не кажется убедительным утверждение, будто бы Сталин – «типичный догматик... абсолютный приверженец тех теоретических схем, в которые он уверовал», что партийную программу он не стал переписывать потому лишь, что она «в главных, базисных идеях соответствовала тому, что И.В. Сталин считал правильным» (с. 51, 52). Соотне-

сение сталинского теоретического пласта с ленинским, осуществленное Поповым, – небесполезная гимнастика ума. Но Сталин – гибкий прагматик, а не теоретик. В чем он действительно преуспел, так это в фокуснической эквилибристике на ниве теории. Не практику свою, думаю, он сверял с теорией, а наоборот, весьма изобретательно сочинял квазитеоретические построения под собственную сверхидею и политическую практику с ее головокружительными пируэтами.

Сталин и сталинизм действительно восходят к Ленину и ленинизму. Однако – и это второе мое замечание – не только к Ленину. Родословная Сталина богаче. Точнее и ярче других, на мой взгляд, политическую, идеологическую и моральную родословную Сталина описал великий русский писатель В. Гроссман. Вот его выразительный образ. «Все черты не ведающей жалости к людям крепостной России собрал в себе характер Сталина. В его невероятной жестокости, в его невероятном вероломстве, в его способности притворяться и лицемерить, в его злопамятстве и мстительности, в его грубости, в его юморе выразился сановный азиат... В его умении пользоваться тончайшими приемами конспирации, в его аморальности выразился революционер нечаевского типа, для которого любые средства оправданы грядущей целью... В его вере в чиновную бумагу и полицейскую силу как главную силу жизни, в его тайной страсти к мундирам, орденам, в его беспримерном презрении к человеческому достоинству, в обоготворении им чиновного порядка и бюрократии, в его готовности убить человека ради святой буквы закона и тут же пренебречь законом ради чудовищного произвола выразился полицейский чин, жандармский туз»¹¹. Такова цена теоретическим воззрениям и якобы научным штудиям Сталина. Поэтому мне трудно согласиться с тем, что лишь одна «последняя капля» дает новое качество, отделяет Сталина от Ленина. Можно вести спор с апологией Ленина, оставаясь на почве содержательной дискуссии. Спорить же с теми, кто толкует о «заслугах» Сталина, бессмысленно: это люди либо совершенно бесчестные, либо предельно невежественные и упивающиеся собственным невежеством.

Значительное место в книге уделено главной из «заслуг» Сталина и его соратников перед вчерашними и сегодняшними государственниками – переформатирование советского общества и создание нового правящего класса. Основным орудием того и другого был начатый еще до Сталина, но доведенный им до заоблачных высот террор. Против экономической, политической и культурной элиты дореволюционной России. Против крестьянства и, прежде всего, его наиболее работающей и созидательной части. Против интеллигенции, в том числе выросшей при советской власти. Против старого и нового офицерских корпусов. Против кадров собственной партии, в том числе практические всех героев Октября. Против солдат и населения, выданных гитлеровцам сталинским «стратегическим гением». Против назначенных к наказанию народов. Трудно сказать, на кого еще мог обрушить свой гнев этот укрывшийся за стенами Кремля вурдалак, если бы его – с немалым опозданием – не прибрал Господь.

Сколько во всем том было личной паранойи и сколько холодного расчета, менее значимо, чем социальные и политические условия, востребовавшие систему, при которой все это стало возможным и необходимым. Пристальное внимание Попова, как и многих других авторов, исследовавших сталинизм, привлечено к одному из самых зловещих событий многоактной трагедии народа – «Большому террору» конца 1930-х гг. Здесь, на мой взгляд, мы встречаемся с суждениями верными и очень спорными. «Сталин во многом был прав», – утверждает автор. «Большой террор вытекал из решения Сталина объявить о материализации, наконец, в СССР призрака коммунизма», т.е. о том, что социализм уже построен (с. 228–229). Мне трудно согласиться с «правотой» Сталина даже в такой интерпретации его логики, где действие выводится из идеологического (или скорее пропагандистского) императива. Все обстояло, по-моему, как раз наоборот. Истребив наиболее мыслящую, самостоятельную и инициативную часть своей партии и наведя ужас на всех остальных, Сталин, если бы ему это потребовалось, мог объявить, что в советской стране установлено царство Божие, а он сам – новоявленный Мессия.

В главном Попов прав. Верхний слой бюрократии, вышедший из революции и гражданской войны, для сталинского «социализма» был непригоден. Большинство партийцев, погибших в годы «Большого террора», ни к каким оппозициям не принадлежали. К «врагам пролетариата» они были столь же беспощадны, как и их палачи. Но кого считать врагом и что отвечает «интересам революции», они привыкли решать сами и действовать по собственным убеждениям. Своими позициями у власти они были обязаны самим себе, историю партии знали не по лживым учебникам. Они по-разному могли относиться к возвысившемуся Кобе, но помнили времена, когда партию сотрясали споры. В тоталитарной, подогнанной под вождя политической системе такие люди были не только излишни, но и вредны. Однако никаких демократических или хотя бы некровавых механизмов ротации кадров эта система на стадии своего становления не знала. Между тем подрастали, выходили из совпартшкол, воспитывались в атмосфере аморализма и проверялись на практической работе, где их повязывали кровью, новые поколения. С вожделием смотрели они на власть и все более щедро расточаемые ею блага. Мало кто из них мог представить, что волны террора будут накатываться одна за другой и сами они окажутся в числе жертв.

Демифологизация «ленинской гвардии» большевиков, содержащаяся в книге, необходима и полезна. Их апология не изжита. Эти очень разные люди вовсе не представляли цвет русского общества, как о том писали во время первых реабилитаций. Находясь у власти, они сами совершили немало преступлений. Свой путь многие из них завершили постыдной капитуляцией перед людоедом. Но шедшие им на смену в массе своей были не лучше, а хуже по политическим, гражданским, человеческим качествам. К власти было призвано «новое поколение – научившиеся мыслить после Переворота. У них нет ни памяти, ни традиций. Они чисты в своем безродстве» (с. 261). В «Большом терроре» отработывался сталинский способ селекции элит. Отбирался человеческий материал, наиболее пригодный для экспериментов, которые ставились на живом теле страны. И неуклонно отсекались попавшие по недосмотру в элиту и аппарат люди нерептильные, яркие, заподозренные даже не в неповиновении, а в самостоятельном образе мыслей. Для решения актуальных задач хозяйственного и государственного строительства требовались люди инициативные. Некоторые из них пережили террор. Но общая атмосфера доносов, интриг и низкопоклонства разлагала даже наиболее способных из них.

Наряду с основной целью – замещением элит, показывает автор. «Большой террор» решал важные сопутствующие задачи: насаждение страха в стране, деполитизацию общества, обеспечение сталинских строек даровой рабочей силой и т.д. Поэтому злорадство, с которым некоторые убежденные противники большевизма оценивают «Большой террор» (одни преступники уничтожали других), лишь обнажает безнравственность и недомыслие тех, кто повторяет подобные сентенции. Хотя бы потому, что жертвами террора стали сотни тысяч граждан, к политической жизни никакого отношения не имевшие, что «врагов народа» уничтожали, направляли в ГУЛАГ, в ссылку по разнарядкам, приходившим сверху и количественно перекрываемым в порядке «низовой» инициативы обезумевшими от страха исполнителями. «Большой террор» необратимо и в массовом масштабе формировал *homo sovieticus* – негражданина, послушного, безгласного, утратившего нравственные критерии. И тот слой бюрократии, которому предстояло распорядиться сталинским наследством.

Отвечая на будоражащий многих вопрос почему фигуранты показательных процессов признавали все нелепые обвинения, Попов излагает две разные версии. Одна – героев, прошедших царские тюрьмы (к слову, по сравнению с советскими пыточными заведениями условия там были чуть ли не санаторные), не страшившихся смерти и страданий, убедили в том, что они должны принести последнюю жертву своей партии. Признаться в чудовищных, не совершенных ими преступлениях, чтобы все увидели, какую опасность представляют для страны Советов коварные заговорщики – вчерашние оппозиционеры и их хозяева-империалисты. Эта версия была психологически убедительно разработана в знаменитом романе бывшего коминтерновца

А. Кестлера «Слепящая тьма» и воспроизведена Поповым. К самооговору эти люди шли через самоотречение, через растворение собственной воли и совести в партии. Герой «Слепящей тьмы», видный большевик, не боится смерти. Он идет и на то, чтобы признать ошибочной всю свою жизнь, ибо самое святое для него партия: «Партия всегда права... Партия – все, а все отдельные личности – ничто... Дело в самой концепции революционной партии и революционной диктатуры». А раз так – «ложь спасительна, так как действует успешнее правды» (с. 259, 271, 272). Примерно так же объясняет капитуляцию Зиновьева и Каменева А. Орлов, советский разведчик и невозвращенец¹². Вероятно, аналогичным образом склоняли к лживому самооговору во имя интересов партии некоторых видных оппозиционеров, давно уже «разоружившихся» перед нею.

Но версия эта не исчерпывающая, хотя бы потому, что выводить или не выводить кого-либо на открытый процесс решали сами карательные органы. Прежняя элита партии оказалась «наиболее слабым звеном... легкой добычей сталинского государственного социализма» (с. 244) именно потому, что была идейно и нравственно ущербна. Но не только поэтому. Упоминание «гигантской политической полиции с научно разработанными системами пыток» (с. 261) в этом контексте вполне уместно. К этому следует добавить, что заложниками становились семьи, родные и близкие подсудимых. И потому противопоставление жалким признаниям фигурантов московских процессов мужественного поведения на суде Дантона и Димитрова, кажется не вполне корректным: Дантона ждала всего лишь гильотина, а Димитрова, который вскоре станет выдавать чекистам на заклятие эмигрантов-коммунистов, – спецрейс в Москву, о чем была достигнута секретная договоренность с гитлеровским «правосудием».

Поражает другая версия, будто бы объясняющая время, масштабы «Большого террора» и признания обвиняемых: «Заговор в партии, заговор военных, наконец, заговор иностранных разведок... Люди, отдавшие революции всю жизнь... в принципе не могли равнодушно относиться к перспективе гибели революции», угрозу которой они усматривали в действиях Сталина. «И натренированные всем опытом внутрипартийных интриг, не могли не пытаться объединиться – и со своими сторонниками, и с другими противниками Сталина в партии. Другой логики тут быть не может» (с. 209, 211). Очень даже может быть! Выброшенные из седла, утратившие все, что имели, деморализованные, находящиеся под пристальным присмотром НКВД и разбросанные по городам и весям огромной страны тысячи бывших оппозиционеров не имели для объединения даже физической возможности. Максимум, на что они были способны, доведись встретиться, – предаться воспоминаниям и lamentациям об ушедшем времени. От этого до заговора дистанция колоссальная. Но и такие настроения, по-видимому, разделялись далеко не всеми. Анна Михайловна Ларина, вдова Бухарина, говорила мне о своем муже и его окружении: не переоценивайте их оппозиционность в середине 1930-х гг. Они все к тому времени стали сталинистами. Они уверовали, что в прежних спорах прав оказался Сталин: он победил и построил социализм... Ни одного факта, подтверждающего существование антисталинского заговора в каких-либо средах, Попов не приводит, и не случайно. Их нет. Следует лишь выразить глубокое сожаление о том, что наши победоносные маршалы, как писал Бродский, «смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».

Сталин действительно оказался победителем в той мере, в какой победа вообще может быть приписана субъективному фактору. Конечно, удачное сочетание случайных обстоятельств выручало его не раз. Но на крутых исторических поворотах он принимал решения, которые вели его к цели – утверждению собственной власти и упрочению строя, который он называл социализмом. Можно спорить, оказался ли «государственный социализм... одним из главных факторов ускорения перехода человечества к постиндустриальному строю» (с. 322). Я так не думаю. Но известно, что победы Сталина оказались исторически преходящими, что сразу вслед за его уходом из жизни стал разворачиваться необратимый процесс распада и крушения и его партии, и его государства, и его империи.

Память о Великой Отечественной войне – национальная святыня. В сознании народа, в особенности переживших войну поколений, победа в войне – предмет гордости, главное позитивное событие нашей истории. Праздник Победы – единственный гражданский праздник, признанный всем обществом. В четвертой книге своего цикла Попов решает очень непростую задачу: освободить действительно великий подвиг народа от обволакивающих его напластований официальной историографии и пропаганды – мифологии, умолчаний, искажений и прямой лжи. «Одна неправда нам в убыток, и только правда ко двору!» – цитирует он строчки А. Твардовского. И вспоминает слова Виктора Астафьева: «Чем больше наврешь про войну прошлую, тем ближе сделаешь войну грядущую». А раз так, «самая главная, самая генеральная, все определяющая задача – преодолеть сталинизм в оценке Отечественной войны в целом» (с. 21). Ибо мифология, бесчестно эксплуатирующая тему войны, идеологически легитимирует власть сталинской, послесталинской и нынешней бюрократии. А целостный пересмотр прошлого только и может создать иммунитет против вранья, хвастовства и самолюбования, перед которыми беззащитна оказалась и новая Россия (с. 16). Есть прошлое и прошлое. В жизни большинства народов, сражавшихся с гитлеризмом, Вторая мировая война все больше отодвигается в музей прошлого – достойного, памятного (а для германского народа в основном преодоленного). В жизни народов СССР это прошлое, как незалеченная рана, порождает реальные и фантомные боли, вступает в переключку с самыми болезненными проблемами сегодняшнего дня.

Автор перебирает одно за другим события войны, позабытые или сознательно искаженные. Гибель московского ополчения. Плохо вооруженные, необученные люди, цвет интеллигенции и рабочих столицы – отдельно, подольские курсанты, без пяти минут офицеры – отдельно были брошены под колеса германской военной машины и понесли сокрушительные потери (в дивизиях осталось по несколько сотен, а то и десятков бойцов). Что это – внутренние разборки и подозрительность Сталина, возомнившего, что «молодые волки» из столичного партийного руководства смогут использовать вооруженную силу для госпереворота в Москве, как предполагает Попов (с. 55–66), или обычные советские замешательство и бардак, как склонен думать я, не столь уж важно. Примеров того, как относится наше начальство к человеку на войне, мы повидали немало и в недавние времена.

«Предатели». Разные категории очень разных людей: взявшие и не взявшие немецкое оружие, русские и граждане недавно присоединенных территорий, за краткий срок успевшие узнать все прелести сталинского режима, уголовники и эмигранты, советскими гражданами никогда не бывшие. Я не разделяю некоторые оценки автора, но едва ли можно отмахнуться от того факта, что общее число пошедших на германскую службу достигало 1.3–1.5 млн человек, в том числе в вермахте и СС – от 900 тыс. до 1 млн, в полицейских и аналогичных формированиях на оккупированных территориях – около 400 тыс. «Никогда в русской истории такое количество русских людей не сотрудничало с врагом», – констатирует автор и предлагает российским лидерам, выступающим с докладами об Отечественной войне, ответить на вопрос: «Кто довел сотни тысяч наших сограждан до самого страшного в жизни человека, до готовности сотрудничать с врагами» (с. 92–93).

Отношения с союзниками в годы войны – тема непростая. Как известно, второй фронт не был открыт, как обещали, ни в 1942, ни в 1943 г. Что ж, союзники в отличие от советского командования берегли своих солдат и небезосновательно опасались, что плохо подготовленный десант там, где крепок германский оборонительный вал, будет сброшен в море: у них был неудачный опыт операции в Дьеппе. Не чужды были им и не слишком благовидные политические мотивы. То же самое, правда, можно сказать и о Сталине. Мирные дымки походных кухонь на правом берегу Вислы видела истекавшая кровью Варшава: независимое польское правительство в освобожденной повстанцами столице Сталину было ни к чему. Принижение вклада союзников в общую победу от-

лично встраивается в востребованную вновь антизападную, антинатовскую пропаганду, разжигающую самые примитивные предрассудки населения. Кто знает, например, что победу на Курской дуге в немалой мере определила высадка союзников в Сицилии, заставившая германское командование свернуть наступление и перебросить ударные силы в Италию? (с. 105–107). И совсем уж непристойно замалчивание колоссальной англо-американской материальной, военно-технической, продовольственной помощи. Сталин оценил масштабы союзнической помощи в 4% от собственного промышленного производства СССР. Автор показывает, что это сознательная ложь. Говорит он и о героизме и потерях английских моряков, которые везли эту помощь в Мурманск. «Американцы дали нам столько материалов, – свидетельствует Г. Жуков, – без которых мы не могли бы сформировать свои резервы и не могли бы продолжать войну» (с. 99–105).

Точно так же замалчивается то, что мы делали в собственной зоне оккупации Германии после войны. Право Советского Союза на возмещение хотя бы части колоссального ущерба, нанесенного гитлеровской агрессией, было международно признано. Но факты о том, что именно изымалось, как и для чего, – мало известны. Масштабы репараций. По официальным данным, претензии были предъявлены на 10 млрд долларов в тогдашних ценах. Но поскольку мы сами определяли и оценивали изъятое, сумма эта, по некоторым оценкам, должна быть увеличена раз в 10. Труд 2 млн немецких военнопленных. Вывоз культурных ценностей (о Дрезденской галерее было объявлено через 10 лет после окончания войны). Особо озабочены были оккупационные власти поиском секретных советских архивов, вывезенных немцами (ускользнул, правда, архив смоленского обкома партии и НКВД, изучение которого позволило исследователям на Западе узнать многое о «Большом терроре»).

Демонтаж, вывоз, хранение и использование основной части поступившего в распоряжение нашего государства добра осуществлялись по-советски, т.е. крайне нерасчетливо, с колоссальными потерями, без дальнего прицела: «Если мы собирались установить в Германии социализм, нелепо ее обирать» (с. 137). Вывоз научных материалов и ученых, погоня за немецкими атомщиками и ракетчиками (то же самое делали американцы, но они открыто, а мы в тайне и от своего, и от немецкого народа). Основное же заключалось в том, что репарации лишь в незначительной доле предназначались для «улучшения жизни советских людей, пострадавших от войны. А главным образом – для быстрой подготовки СССР к новой войне». Все это – только часть значительно более широкой и общей проблемы, которая стоит в центре разворачивающихся ныне исторических споров: о роли СССР в мире после войны. «Я хотел бы, – замечает автор, – чтобы кремлевские докладчики специально подчеркнули, какой вклад внесли немецкая техника, немецкий интеллектуальный потенциал и живые носители этого потенциала в создание того ядерно-ракетного кулака СССР, который почти полвека позволил советскому социализму удерживаться и в мире, и на шее собственного народа» (с. 135, 142).

Рассказано (или упомянуто) в книге и о других «белых пятнах» в истории Отечественной войны. О «добыче» советской номенклатуры, лично обогащавшейся в побежденной стране вне всяких официальных репараций. О судьбе советских политзаключенных. О «наказанных» народах СССР. О военно-политической стратегии Сталина на заключительном этапе войны, когда 80 тыс. жизней советских солдат и офицеров были положены, чтобы наши, а не союзнические армии первыми вошли в Берлин. Многого ко всему этому можно было бы добавить. О том, прежде всего, что для народов Европы схватка с германским нацизмом началась на 2 года раньше, чем наша Отечественная война. В эти годы отношения СССР с гитлеровской Германией строились на базе известного пакта Молотова–Риббентропа, подписанного в августе 1939 г., сентябрьского договора «о дружбе и границе», секретных протоколов о разделе сфер господства в Восточной Европе. Нелишне было бы напомнить читателям о совместном советско-германском военном параде в Бресте, о крутом развороте советского внешнеполитического и идеологического фронта, о советских поставках стратегического сырья, достаточно весомым образом способствовавших германским военным успехам.

Факты об Отечественной войне, которые приводит Попов, неоспоримы. Их невозможно интерпретировать в пользу или хотя бы в оправдание Сталина и правившей советской бюрократии. Единственное, к чему могли прибегнуть наследники Сталина, – сокрытие от собственного народа и грубое искажение фактов достаточно общеизвестных. Их последователи идут дальше. О многом было сказано в годы гласности. Опубликованы секретные документы, изданы правдивые книги о войне. Нет-нет, но даже на экранах государственного телевидения появляются честные фильмы и передачи. Что же со всем этим делать? И в Государственной думе стали курсировать удивительные законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание то ли победы СССР в Отечественной войне, то ли преступлений гитлеровцев (а не Сталина и его подручных!) на нашей земле. Актуальность подобного рода инициатив, если принимать их за чистую монету, сомнительна (кто и когда отрицал то и другое? какова общественная опасность столь экзотических деяний?). Но создание государственной комиссии «по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» ставит точки над *i*. Не говоря уже о том, что в состав комиссии введены люди, к исторической науке отношения не имеющие или известные своим достаточно вольным прочтением истории, сама претензия государства определять, что в исторических работах наносит ущерб национальным интересам, выходит за рамки Конституции, запретившей государственную идеологию. Очевидно, что острие всех этих акций в первую очередь направлено против правды о войне.

Самое главное в книге Попова, однако, не повествование о замалчиваемых или искажаемых событиях Второй мировой войны, а общая концепция. Не одну, а три войны вела наша страна в 1941–1945 г. Первую войну Сталин и партийно-советская бюрократия проиграли. Кадровая армия, созданная гигантским напряжением сил страны, сильнейшая на планете, по численности и вооружениям превосходившая германские силы вторжения, в считанные дни перестала существовать. Обрушилась главная сила режима – армия, которую 20 лет готовили к войне, а накануне того, как большая война разразилась, – к походу в Европу, показывает автор. За несколько месяцев 1941 г. наши потери составили 4,5 млн бойцов, командиров и генералов (это в основном сдавшиеся в плен) – треть всех потерь за 4 года войны (с. 196–202). Объяснений катастрофы и действительных, и придуманных для обеления Сталина и его режима, было немало. Их нельзя сводить к коварству Гитлера или ошибкам Сталина. Солдаты не умели и не хотели воевать. После прошедших в предвоенные годы чисток командный состав Красной армии понес урон, сопоставимый с военными потерями. Потребовалось время, чтобы сама война отобрала офицеров и генералов, способных вести современную войну. А платить за это приходилось большой кровью. Аналогичный отбор также должен был произойти среди партийных кадров.

Особенно велика была цена, уплаченная за замешательство в первые дни войны самого Сталина (который распорядился выяснить через болгарского посла, на каких условиях Гитлер согласился бы прекратить войну; с. 213–218), а затем – за его ошибки и просчеты, которые влекли за собой разгром армий и крушение целых фронтов. Значительная часть населения, особенно на присоединенных в 1939–1940 гг. территориях, но не только там, встречала немцев как освободителей. Ждали, в частности (но не дождались!), роспуска колхозов. В основе всего этого, заключает автор, – «банкротство сталинского, советского государственно-бюрократического социализма...», за пятьдесят лет до августа 1991-го» (с. 213).

Перелом в войне произошел, когда на смену разгромленным кадровым соединениям пришла армия резервистов, когда на защиту своего Отечества встал народ, который бросил в битву свой единственный резерв – собственную кровь и жизнь (с. 234). Начало второй войны, Отечественной, Попов относит к июлю–августу 1941 г. Другие авторы полагают, что это произошло позже¹⁴. Я думаю, что провести точную хронологическую грань между первой и второй войной трудно. Осознание намерений Гитлера, беспрецедентных масштабов и характера угрозы, нависшей над самим национальным существованием русского и других народов СССР, приходили не в одно время к раз-

ным слоям населения и в разных районах страны. Автор справедливо подчеркивает, что главным идейным ресурсом сопротивления нашествию стал патриотизм народа. Именно он изменил характер войны.

Разворот официальной пропаганды, политической работы в войсках отразил этот сдвиг и в известной мере способствовал ему. Следует лишь отметить, что чем дальше, тем больше в идеологии партии и государства, а затем и значительной части общества национальное начало стало вытесняться националистическим, интернационализм – шовинизмом, а идеи мировой революции – представлениями об исторической роли России в мире. В этой связи важно отметить, что обращение к патриотическому сознанию было не единственным ресурсом советской победы. Была городская интеллигентская молодежь, ненавидевшая фашизм во всех видах, поверившая в светлые идеалы социализма и интернационализма, в свое предназначение «землю в Гренаде крестьянам (а не колхозам!) отдать». Были «комсомольские поэты», стихи которых востребованы и военными, и последующими поколениями. Мало кто из них вернулся с войны, на которую они шли с отвагой и с верой в то, что сражаются не только за Россию. Эти люди с недоумением восприняли замену «Интернационала» михалковским гимном, введение погон, сомнительные переосмысления истории России. Я знал таких людей, и думаю, что при всех юношеских заблуждениях они принадлежали к интеллектуальной и нравственной элите народа.

Третья война – экспансионистская, нацеленная на утверждение советского господства и государственно-бюрократического социализма на всех территориях, до которых дошли советские войска, согласно Попову, началась во второй половине 1944 г., когда Советская армия вышла на довоенную государственную границу (с. 262). Осознание того, что на заключительной стадии война из Отечественной стала перерастать в захватническую, что освободив народы Восточной Европы от гитлеризма, СССР навязал им почти на полвека коммунистическую власть – подобие советской, принципиально важно. Как Отечественная, справедливая, освободительная война народа переросла в третью, экспансионистскую стадию, так и послевоенная политика советских властей, распоряжавшихся в странах Восточной Европы как у себя дома, в сознании большинства нашего народа была окрашена ореолом Отечественной войны.

Люди не вдавались в квазиюридические обоснования права советских вождей назначать и смещать своих агентов местными вождями в «социалистических» странах, мало кто слышал о «доктрине Брежнева», но одобряли подавление антикоммунистической революции в Венгрии и Пражской весны, жесткое давление на Польшу, на Югославию. Историческое проклятие – защита так называемых итогов Второй мировой войны, т.е. линии разграничения, проведенной в Ялте и Потсдаме, ничего доброго не принесла советским народам, если не считать за добро упоение государственным величием. Но итогами войны обосновывали право СССР на интервенцию: ведь сотни тысяч советских солдат отдали жизни за освобождение этих стран! Выйдя из войны с самой сильной армией в мире, Сталин стал готовиться к следующей войне. Прямым продолжением третьей войны с Германией стала холодная война, в топку которой наши правители опять стали бросать немеренные ресурсы, а для народов СССР настала полоса новых тяжелых испытаний.

Парадоксально, но это наше наследие, утраченное физически, но оставшееся в головах людей, и ныне не преодолено. Согласно проведенному в апреле 2009 г. опросу ВЦИОМ, 77% респондентов убеждены, что Советская армия, освободив страны Восточной Европы от нацистской оккупации, дала им возможность жить и развиваться, и только 11% полагают, что СССР, насадив там коммунистические режимы, фактически лишил эти страны независимости¹⁵. Я разделяю принципиальный подход автора и поддерживаю его общий вывод: «Именно сейчас, в XXI веке – в свете бесславно-го конца сталинского социализма – особенно очевидна преступность сталинского варианта окончания войны 1941–1945 годов. И перед народами Восточной Европы. И, прежде всего, перед русским народом» (с. 270). И все же необходимо сделать ряд оговорок.

Настойчиво проводя параллель между продвижением советских армий за пределы государственных границ и походом войск Александра I на Париж вопреки позиции Кутузова, Попов подводит читателя к заключению, что сам призыв «добывать врага в его собственном логове» был ложен и чужд менталитету русского народа, а «каждый четвертый убитый» [в 1945 г.] советский боец и командир погиб за сталинский вариант завершения войны 1941–1945 годов» (с. 265, 268). Мне с этим согласиться трудно. Такого врага, как германский нацизм, надо было добывать обязательно. Без этого не могло быть мирного развития в Европе. Выдвинутое Рузвельтом требование безоговорочной капитуляции рейха вписывалось в оба сценария продвижения Советской армии на Запад: и освободительный, и оккупационный. Я хорошо помню настроения людей, с которыми мне, подростку, в то время доводилось общаться. Стремление войти в Германию, отплатить, иногда с переклестом, за все, что было сотворено гитлеровцами, водрузить там знамя победы не было наваждением, навязанным сталинской пропагандой. Это было то же чувство, которое подняло народ на Отечественную войну с захватчиками. Да, потери армии, понесенные в странах Восточной Европы и Германии, были чрезмерно велики. Но отнести их следует к сталинским методам ведения войны, к его стремлению войти в Берлин раньше союзников, а не к задаче уничтожения гитлеровского режима, гитлеровской партии, гитлеровской армии и гитлеровского государства. Объективная необходимость и субъективные настроения народа совпали.

Иное дело, что эту задачу Сталин и его бюрократия подменили другой, освобождение – оккупацией (с. 246–247). Упустил ли он тем самым «свой великий личный шанс» и «шанс компартии»? (с. 261–262). Шанс этот, по мнению автора, – реформирование, демонтаж государственного социализма. Думаю, что такого шанса у Сталина не было, как не может быть шанса у людоеда перейти на вегетарианскую диету и заслужить за это признательность окружающих. Сама мысль об этом не могла прийти ему в голову. И не потому, что он был предан теории и идеалам марксизма-ленинизма (с. 250). С теорией этой он давно уже обращался как с уличной девкой. И не потому, что он не знал, чем заменить государственный социализм (с. 254) – пережив страх и растерянность первых дней войны, он укрепился в убежденности, что эту модель всей возросшей военно-политической мощью СССР надо утверждать в Европе, в мире. Он не поменял ориентацию с народа на бюрократию (с. 258), ибо всегда народ для него был инструментом политики, а бюрократия – главной социальной опорой.

Не было тогда, к несчастью, реформаторского шанса ни у партии, ни у народа. Победы, тем более сокрушительные, в истории почти всегда укрепляют режим и власть победителей. После войны авторитет и власть Сталина были непререкаемы далеко не только благодаря системе тотального контроля над обществом. Именно победа, как ничто другое, укрепила режим и обеспечила ему еще почти полувекое существование. Партия Ленина–Сталина показала свою неререформируемость и тогда, когда модель была окончательно изжита. А народ в массе своей не был готов обратить великую победу над внешним врагом в свою пользу. Напротив, сама победа стала источником мифологизации общественного сознания и тем самым нового порабощения.

*Сеанс парапсихологии, или альтернатива генерала Власова*¹⁶

В этой книге читателя ждет сюрприз. Повествование в ней опирается на обширную литературу о генерале Власове и его армии, на протоколы закрытого суда, и даже на секретную папку, будто бы тайно извлеченную людьми Берии из сейфа Сталина после его смерти и предоставленную ее хранителями на пару дней Попову без права ссылок на содержащиеся в ней материалы. Но не только, сообщает автор. Оказывается, он обладает уникальной способностью проникать в мир душ умерших людей. Эту свою способность он решил реализовать впервые, вызвав на разговор дух Власова, так как «главное о генерале остается неизвестным» И в назначенный час встреча происходит (с. 16–19). Почти все дальнейшее изложение представлено как исповедь казненного

генерала (точнее, его духа). Монолог изредка прерывается вопросами и комментариями автора.

Что ж, признаем право автора на столь экстравагантный зачин в том жанре, в каком написана книга. Так оригинальнее и завлекательнее. Замечу только, что дух генерала не сообщает ни одного факта, который не был бы известен из литературы, а в его объяснениях нет ничего, чего бы не мог придумать, отгалкиваясь от этих фактов, сам автор, известный своей способностью выстраивать увлекательные логические конструкции. Примем поэтому: в форме диалога представлен разговор автора с самим собой. (Это видно даже из содержания и стилистики речи «Власова». Он хотя и принадлежал к числу более образованных советских военных, вряд ли был настолько эрудирован, чтобы знать, кто такие Авраамий Палицын и кн. Волконский, а о Гитлере, будто бы по-своему искавшем пути преодоления тупиковости капитализма, о системе государственно-бюрократического социализма в СССР рассуждает так, как это изложено в трудах Попова; с. 33, 86–87, 166.)

Общая оценка Власова в книге резко отличается от той, которая утвердилась в нашей стране и разделяется «даже светлыми головами». Он, по мнению Попова, не предатель, а «настоящий патриот», боровшийся «за выход из социализма... за новую, постиндустриальную демократическую Россию... предтеча антисоциалистической народной революции 1989–1991 годов». И потому место ему рядом с А.Д. Сахаровым (с. 200, 204, 205). Признаюсь: меня коробит столь невоздержанная похвала Власову. Психологически мне кажется более достоверным портрет генерала, набросанный в известных мемуарах И. Эренбурга, которому довелось встретиться с генералом еще не в загробном мире. Риску предположить, что при всем, допускаю, негативном отношении к Сталину и многим сторонам советской жизни Власов, не попади он в окружение и плен, стоял бы, если не был убит на войне, рядом с другими военачальниками на трибуне Мавзолея на параде Победы. А потом, возможно, командовал бы войсками, врывавшимися в Будапешт и Прагу. Не один он такой был с советским двоемыслием и приспособлением к обстоятельствам.

Но допустим, что прав Попов, а не я. Примем его версию и поведем разговор – это важно оговорить с самого начала – отгалкиваясь от нее. Антисталинизм Власова, полагает автор, к началу войны был столь резок и принципиален, что он изначально решил открыто вступить на путь борьбы со сталинским государством. Иными словами, осознав, что «при Сталине у России нет перспектив» (с. 33), стал выстраивать собственную альтернативу сталинизму: стратегию – начать вооруженную борьбу с советским режимом, используя благоприятствовавшие тому условия войны, и тактику – шаги, которые были продиктованы обстоятельствами. Все это очень подробно, шаг за шагом изложено в книге. Разоблачение лжи о Власове и «власовцах», навороченной официальной историографией (с. 179–180), – несомненно, благая цель. Введение в оборот неизвестных широкому читателю фактов – заслуга автора. Правду надо знать всю, а не выборочно. С чем согласиться нельзя – будто главное о Власове еще неизвестно. Если что и было неизвестно, так это интерпретация, версия, сообщенная нам из загробного мира. Но приведенные факты дают почву для иных версий и оценок.

Деятельность Власова, настаивает автор, «была предательством только сталинского государства», не родины и народа (с. 200). Но все дело в том, что в годы смертельной схватки, во всяком случае уже в 1942 г., это столь нелюбимое не одним Власовым государство было неразрывно связано со страной и народом. Отделить одно от другого, как в лабораторном опыте, было невозможно. Невозможно, например, было силами 2-й ударной армии прорвать германский фронт, войти в Ленинград и создать там антигитлеровское и антисталинское правительство (рассчитывая в этом на поддержку Маннергейма). Если такой план и зародился в голове генерала, то это свидетельствует лишь о его неумной фантазии и очень слабом военном и политическом реализме.

Столь же наивным было представление, что Гитлер, утверждавший свой беспощадный «орднунг» в Германии и завоеванных странах, позволит создать неуправляемую и неконтролируемую русскую национальную армию вместе с правительством со

своей стороны фронта, а тем более согласится «на антисталинскую могучую Россию» (с. 161). Даже если бы проект не был остановлен им на самой ранней стадии, никто не позволил бы Власову вести свою игру. Когда он ее задумывал и начинал, тотальное поражение Германии вовсе не было заведомо предопределено, а впоследствии создание боеспособной силы, сражающейся с советскими армиями, могло привести лишь к затягиванию войны, продлению жизни рейха и еще большим потерям истекавшей кровью России.

Повторю: даже если принять реабилитирующую Власова версию Попова, самое малое, что можно сказать о перешедшем к немцам генерале: он оказался негодным политиком, жившим в мире фантазий, неспособным реалистически оценить ни Гитлера, ни одиознейшего Гимmlера, на которого он сделал ставку в 1944 г., ни вероятность успеха антигитлеровского заговора германских военных, ни отношения к себе западных союзников СССР. Поэтому и проваливались, как это показано в книге Попова, одна за другой все его «тактики». Власов, поразительным образом подводит итог автор, «сумел в тяжелейших условиях устоять между Сталиным, Гитлером и Западом» (с. 205). В том-то и дело, что не устоял, не мог устоять и был раздавлен, попав в водоворот сражения, участники которого были не ему чета.

В позитив, оставленный Власовым, Попов выводит Пражский манифест Комитета освобождения народов России, объявленный в ноябре 1944 г. (с. 144–157), и поведение генерала на суде (с. 161–173). С этим тоже трудно согласиться. В манифесте действительно содержался ряд здравых положений, но были там и пункты абсолютно неприемлемые не только для руководителей антигитлеровской коалиции, но и для народов России и Европы (например, «почетный мир с Германией»). А главное, исходил этот документ из дискредитированного стана, в котором, справедливо или несправедливо – иной вопрос, видели союзников или даже наймитов Гитлера. И потому даже разумные предложения были обречены. Можно находить, как это делает автор, совпадения в манифесте и программных документах демократической революции в России, но ясно, что никакого влияния на них он не оказал. Точно так же противоречия в обвинительных материалах сталинского закрытого суда над Власовым (кстати, подавляющее большинство такого рода процессов и до, и после войны были закрытыми, так что ничего исключительного в порядке проведения суда над Власовым не было), обнаруженные пытливым исследователем, потонули в признаниях и саморазоблачениях и не стали фактом общественного внимания. Так что и здесь Власов, вопреки сказанному, не вышел победителем.

Существует еще один немаловажный аспект всей этой истории. Вопрос о том, допустимо или нет объединяться с противниками собственного государства, какие мотивы и в какой ситуации это оправдывают, – непростой. Споры об этом ведутся еще с Кориолана, если не раньше. Я – на стороне Курбского против Ивана Грозного. Не тороплюсь признать предательством «немецкие деньги» у Ленина: можно посчитать, что вождь большевиков помогал германскому генштабу выводить Россию из войны, а можно, что генштаб оказался орудием Ленина по развязыванию германской революции, и каждая версия будет опираться на факты. К тому же кайзеровская Германия – не гитлеровский рейх. Оценку придется давать отдельно в каждом случае.

Случай, о котором идет речь в книге, особый. Антигитлеровская коалиция действительно включала тоталитарный Советский Союз. Таков выверт истории, но это было так. Победа коалиции, освобождение оккупированной Гитлером Европы (что в огромной, если не решающей мере зависело от того, устоит ли Советский Союз) в итоге привели к укреплению сталинского режима в СССР и замене одной оккупации для народов Восточной Европы другой. Этот результат мог просматриваться еще в ходе войны, хотя, на мой взгляд, не был фатально предрешен. Но победа гитлеровской Германии была бы тотальной катастрофой для Европы, для мира. В англо-советско-американской коалиции были демократические компоненты, у Гитлера их не было. В ситуации с неясным исходом различные национальные силы позиционировали себя по-разному. Польские патриоты сражались с Гитлером. Латышские и эстонские нацио-

налисты шли в дивизии СС. Бандера и его организация не раз меняли фронт. Власов, каковы бы ни были его намерения и каково бы ни было их воплощение, оказавшись по другую сторону советско-германского фронта, не только действовал против Сталина, но и препятствовал победе антигитлеровской коалиции. Он бесповоротно скомпрометировал себя и свое дело и потому не мог быть использован даже антикоммунистическими политиками Запада. Ибо «партнерство», «объединение усилий» с Гитлером, как бы решительно тот ни боролся со Сталиным (с. 67), расценивалось в демократических странах как аморальное и политически провальное. Перед разнородными антисталинистскими силами стоял непростой выбор, из двух зол. Можно отстраненно рассуждать, как здорово было проскользнуть между Сциллой и Харибдой, но такого варианта не было и у Одиссея, выбравшего меньшее зло. Альтернатива – создать третью силу, которая могла бы, воспользовавшись схваткой двух диктаторов, принести освобождение от большевизма народам СССР, – не существовала. Поэтому антисталинские силы должны были сделать выбор из двух, и только из двух, зол. Все честное, достойное, патриотичное, что было в русской эмиграции, не питая иллюзий по отношению к большевистскому режиму, встало на сторону СССР. Власов сделал иной выбор. Не приведи Бог никого вновь оказаться перед таким выбором.

*Никита Смелый, или нереформируемая система*¹⁷

Никитой Смелым назван Хрущев в своих очерках, посвященных русским государям эпохи реформации, Ф. Бурлацкий¹⁸. Личная храбрость как профилирующая черта характера первого советского лидера после Сталина отмечается также и в шестой книге цикла «век-волкодав», написанной Г.Х. Поповым совместно с Н.А. Аджубеем¹⁹ (с. 76). Без нее, действительно, нельзя было ни уцелеть на фронтах Гражданской и Отечественной войны, которые прошел Хрущев, ни одержать победы над своими неслабыми по советским меркам соперниками в кремлевском политическом закулисье, ни, и это главное, бросить вызов пусть даже мертвому Сталину и сталинизму и перевести крепко сбитую систему в иной режим функционирования. Одной смелости для этого, правда, было мало, и Попов с Аджубеем набрасывают портрет человека, качества которого позволили ему и проделать головокружительный «путь наверх» в сложившейся до и без него системе, и наложить глубокий отпечаток на историю своей страны и мира в переломные годы. Эти качества: разумная осмотрительность – «желание и умение по глупости не рисковать», «умение упрощать ситуацию, быстро решать и сразу же реализовывать решение», склонность к «проповеднической миссии – объяснять, рассказывать», азарт, вкус к лидерству и т.д. (с. 74–77).

Казус Хрущева типичен и исключителен в постсталинской системе. Как и большинство тех, кто пришли в большевистскую партию в первые годы после революции, в его биографии не было ни подполья и тюрем, ни эмиграции и образования. Он не интеллигентен и не обременен абстрактными познаниями, но энергичен, обладает практической хваткой, и это в какой-то мере восполняет отсутствие систематического образования. Жаление, что ему недосуг было пройти курс обучения, он высказывал не раз. Понятно, что с таким багажом «он никогда не воспринимал марксизм как некую систему идей, от части которых нельзя отойти, потому что рушится целое... Он освоил марксизм как пропагандистский инструмент, с помощью которого можно действовать, а не как обособленную строгую стройную систему взаимосвязанных идей» (с. 73). Впрочем, к тому времени, когда он вошел в большую политику, склонность к общетеоретическим размышлениям была скорее отягчающим обстоятельством. Именно такие люди, в отличие от партийцев первого призыва, всего более нужны были Сталину, когда он утверждал свою единоличную власть, – не обремененные рефлексией и знанием «подвигов» дореволюционного Кобы, но твердо на него ориентированные, с хода улавливающие истину в последней инстанции из речей и реплик большевистского вождя. И в то же время самостоятельные на отведенном им поле деятельности, инициативные, а также «глубоко уверенные в праве меньшинства командовать большинством и по-

тому абсолютно чуждые идеям демократии» (с. 131–132). Добавлю: без рассуждений идущие за вождем, а потому принявшие за норму подавление демократии не только в стране, но и в партии. Потом, в результате не раз повторенных чисток и «Большого террора», и это поколение вслед за первым будет сметено, а на партийно-политическую арену станут в основном отбираться люди из третьего поколения – молчалинского типа.

Хрущев попал сначала в поле зрения, а затем и в «ближний круг» Сталина отчасти по воле случая, но главным образом в силу своих способностей и развитого чутья. Он оказался востребован и, что было особенно непросто, сумел сохраниться в кругу тех, с кем Сталин собирался строить свой социализм, людей, от которых он не ждал подвоха и кого не уважал. Нетрудно представить, какие чувства испытывал самолубивый Никита, как звал его Сталин, когда вождь, выбивая свою знаменитую трубку о лысую макушку своего выдвиженца, снисходительно приговаривал: «Звук-то какой – пусто!». Шуточки в этой компании были отменные... Зафиксированы устные свидетельства, говорящие о том, что Хрущев будто бы даже при Сталине в приватном порядке резко негативно высказывался о нем и заявлял о своей непричастности к репрессиям²⁰. На мой взгляд, как бы ни оценивать степень их достоверности, сознание содеянного не могло не тяготить его, тем более что к этому он был вовсе не причастен. До поры он твердо знал, что сохранить позиции у власти он сможет, только если не будет вмешиваться не в свои дела (с. 171). Но надежда когда-нибудь сквитаться с тираном, вероятно, издавна вызревала в его душе.

Был ли Хрущев антисталинистом, одним из трех лидеров «мятежа номенклатуры», будто бы созревавшего еще в последние годы жизни диктатора, как утверждают Попов и Аджубей (с. 238)? Думаю, что дело обстояло сложнее. Предсмертные безумства Сталина, очевидная для его ближайшего окружения подготовка нового витка «Большого террора» должны были настораживать. Но еще большим безумством была бы любая попытка сколотить при живом вожде антисталинский комплот. Проживи «вождь народов» еще несколько месяцев и, весьма вероятно, его старые соратники покорно пошли бы на бойню, как бараны. Впрочем, сам Хрущев вряд ли попал бы в список новых «врагов народа», который уже складывался в помутненном сознании Хозяина. Сильно сжатая страхом пружина реванша стала выпрямляться только после его смерти. И то не сразу. Но в первые же недели и месяцы после нее впервые предстал иной, незнакомый дотоле Хрущев. Проявились скрытые до поры его лидерские качества и готовность к риску. «Верные ленинцы» не доверяли и боялись друг друга. Поэтому даже для того, чтобы сплотить их против Берии, представившего реальную угрозу для каждого из них, требовалось и мужество, и настойчивость, и осмотрительность. «Разоблачение агента муссаватистов и иностранных разведок» представлено было народу как солидарная акция «коллективного руководства»²¹. Немногие тогда знали, что инициатором предупредительной акции был Хрущев.

Каким бы злодеем ни был Берия, его удаление было проведено в сталинском стиле. Это, однако, вскоре стало выглядеть как первый удар по самому Сталину: «бьют по мешку, имея в виду осла». В действительности, показывают Попов и Аджубей, именно Берия первым приступил к пересмотру сталинского курса (с. 254–270). Схватка за власть (а для членов послесталинского руководства также за жизнь) потребовала дискредитации ревизионистских шагов Берии и тем самым несколько задержала прямую атаку на Сталина. Но именно в ходе развернувшейся борьбы «выявился вождь и выкристаллизовалась группа победителя», а не до того, как это происходит в демократических странах, отмечают авторы (с. 242).

Продвижение Хрущева с пятого места, которое было четко обозначено в совместном постановлении высших партийных и государственных органов СССР²², на первое осуществилось менее чем за 2 года, к безусловному лидерству – за 3. Именно тогда он провел знаменитый XX съезд партии с антисталинскими разоблачениями. Это немало помогло ему занять место Сталина, а вскоре и разогнать тех, кто стояли у гроба «вождя народов» и были тогда явлены стране как его душеприказчики. Антисталинизм стал

тараном, проложившим путь к власти Хрущеву, как выяснилось, более разворотливому и последовательному из всех наследников. Правда, сами понятия – сталинизм и анти-сталинизм – по идеологически охранительным соображениям в официальный обиход допущены не были вплоть до горбачевской перестройки.

Хрущев мог сколько угодно обличать сталинские злодеяния. Однако не только сталинизм как определенная форма общественного устройства, но и сам Сталин был у него в крови. Перед нами – известный феномен двоемыслия. Не просто камуфлирования неблагоприятной политики высокими идеалами (этого тоже было довольно), но именно двоемыслия – разорванного, противоречивого сознания в одной голове, убедительно показанного Д. Оруэллом в знаменитой антиутопии. Хрущев вполне искренне обличал преступления Сталина, пытаясь освободиться от морака собственного в них соучастия. И столь же искренне, подавив венгерскую революцию, восклицал: «Быть коммунистом – значит, быть сталинцем», «дай Бог, чтобы каждый коммунист боролся за интересы рабочего класса так же, как Сталин»²³. Сталинская твердость в борьбе с «врагами социализма» начинала казаться единственным надежным якорем в море, разбушевавшемся после разоблачений XX съезда. Потому-то «отход от Сталина шел крайне непоследовательно, противоречиво, зигзагами»: от всех наследников пахло «ваксой от сапог Сталина» (с. 231).

И все же при Хрущеве была предпринята первая серьезная попытка реформировать государственно-бюрократический социализм, заменить, как пишут Попов и Аджубей, сталинский вариант социализма «социализмом нового типа». Реформы Хрущева неверно было бы называть половинчатыми, ибо они проводились в такой плоскости, где задача – демонтаж основ созданного при Сталине порядка – не ставилась и движение к этой цели не осуществлялось. Этот «социализм» и по замыслу, и по результату также и после всех реформ оставался государственным при доминирующем положении бюрократии и ее властного ядра – высшей номенклатуры. «При полном всевластии одной партии. При наличии в этой партии централизма и единомыслия. При стоящем во главе партии лидере» (с. 311). Идеологические, политические и полицейские послабления (так называемая оттепель, реабилитации, смягчение цензуры и т.п.) осуществлялись в ритме: иди – стоп – назад! Массовые репрессии прекратились, но судопроизводство по политическим делам (при бесстыдном заявлении самого Хрущева: в СССР нет политзаключенных²⁴) оставалось частью системы полицейского контроля во главе с КГБ (управления которого в центре и на местах, правда, были подчинены партийным органам). Да и вся громоздкая репрессивная система в лучшем случае была лишь переведена в состояние потенциальной готовности. Пробуксовывали и предпринимавшиеся время от времени попытки экономических преобразований. Они, во-первых, осуществлялись административными средствами и тут же обесценивались попятными шагами (такими, например, как поход против личных подсобных хозяйств). Только в самом конце правления Хрущева на страницы официальной печати пробилась дискуссия об экономических методах ведения хозяйства, начатая харьковским профессором Е.Г. Либерманом и поддержанная академиком Н.Н. Трапезниковым²⁵. А во-вторых, неизбежной оставалась основа любой антирыночной системы, начиная с восточных деспотий, слияния власти и собственности.

Тем не менее хрущевские реформы обозначили исторический рубеж в развитии страны. В человеческом измерении они поправили то, что еще можно было поправить в искаленных судьбах миллионов обогнанных, раздавленных репрессивной машиной людей. В материальном измерении заменили «военно-индустриальный социализм Сталина» (с. 313) ограниченным и дискретным, но все же известным повышением элементарных жизненных стандартов больших масс населения. В духовном измерении наметилось возрождение, хотя и в узких ареалах, свободы мысли и даже дискуссий: «исчезают в России страхи», – писал Е. Евтушенко. В политическом измерении наметилось некоторое смягчение и разбалансировка репрессивных механизмов и системы власти в целом. В этом историческая заслуга Хрущева, который, как отмечают Попов и Аджубей, «сочетая черты вождя аппаратчиков с чертами искреннего

популиста... сумел вычленил общий интерес бюрократии и народа и реализовал такие реформы (типа прекращения репрессий), которые нужны были и господствующему классу, и трудящимся» (с. 399, 401).

Вопрос в том, был ли во времена Хрущева упущен в Советском Союзе исторический шанс – из важнейших. Можно ли было тогда перевести общественное развитие в иную плоскость, перейти в принципиально отличную систему, а не в другую разновидность социалистического строя? Авторы, перебрав ряд событий государственной политики и оценив ситуацию в стране и мире, приходят к заключению: «У Хрущева теоретически были возможности для выхода из социализма» (с. 333). Правда, вслед тем они перечисляют ряд мощных факторов, препятствовавших качественному переорождению системы, но общий вывод оставляют в силе. На мой взгляд, хотя некоторые из названных ими предпосылок не только существовали, но и могли сделать переход с тупикового пути относительно более легким (как еще легче было бы осуществить это во время нэпа), речь может идти лишь о сугубо абстрактно-теоретической возможности, имеющей мало точек соприкосновения с реалиями послевоенного СССР. То, что такой перспективы не было в замысле реформ – полбеды. Ее не было и в исходных намерениях реформаторов 1980-х гг. Но во времена Хрущева общий кризис системы (как тут не воспользоваться понятием, придуманным академиком Варгой для капитализма в 1930-х гг.) далеко не достиг такой остроты, при которой замена общественного строя (плавная или катастрофическая) объективно ставится в порядок дня.

Мне трудно согласиться с авторами в том, что «Хрущев спас государственный социализм от того кризиса, который мог его смести» (с. 400). Общественных сил, которые «могли его смести», в постсталинском СССР не было, а преобразования Хрущева сняли или ослабили некоторые напряжения, затруднявшие функционирование системы. «Новый класс» партийно-государственной бюрократии (по М. Джиласу) как «класс для себя», осознающий свои главные интересы если и не слабо развитым головным, то уж спинным мозгом, уже сформировался. В годы правления Хрущева он прошел свой путь самоопределения и выработал инструменты самозащиты также и от неумной энергии и суетливых метаний самого реформатора и «волонтариста».

Система бронзовела, и чем более сумбурами становились метания Хрущева, тем более она ошетикивалась также и против него. Еще при нем были внесены поправки в устав партии, на которых авторы справедливо заостряют внимание: «смысл в голосовании, даже тайном, остался чисто символическим». Правда: эти поправки не то чтобы упразднили «последний очаг демократии» внутри партии (с. 361), никакой демократии в ней не было с 1920-х гг., но исключили даже проблематичную возможность какого бы то ни было сбоя в порядке самосохранения и самовоспроизводства номенклатуры. Теперь ее пополнение и все персональные перемещения могли осуществляться исключительно по воле вышестоящих звеньев даже на низовом уровне. Большевикский порядок «подбора и расстановки кадров» получил завершенную форму. Это приводило, в частности, к тому, что по каналам вертикальной мобильности продвигались преимущественно люди, основным достоинством которых было умение улавливать склонения начальства, «не высовываться», скрывать собственное интеллектуальное превосходство, если они таковым перед своими патронами обладали. Господствующий класс пополнял себя преимущественно конформистами, людьми ущербными в нравственном отношении, заурядными, идеологически ретроградными.

Такой класс не мог не выпустить власть из рук, коль скоро ему предстояло столкнуться с серьезными потрясениями. Но потрясения были еще впереди. Первое, чего добился он после смерти вождя, прекращения кровавых сталинских методов селекции номенклатуры. Собственно, только это они готовы были вменить в вину вождю, но большинство из них не устраивала публичность критики Сталина. Уже на XX съезде эти люди ворчанием встретили первую антисталинскую пристрелку – речь А. Микояна²⁶. Кроме периодически прорывавшегося антисталинизма, в Хрущеве их не устраивала манера произвольно определять, кому отправляться «на ярмарку» и кому «с ярмарки» (чем, впрочем, он пользовался очень выборочно). Вся деятельность Хрущева

чем дальше, тем больше одновременно и восстанавливала против него бюрократию, и делала закулисный сговор ее верхушки, на этот раз действительно «мятеж номенклатуры» (с. 377), политически и физически осуществимым. Итогом «малой октябрьской революции» 1964 г. стал своего рода негласный, неформализованный пакт, внутриклассовое соглашение: никто не может быть удален из ее состава, если только очень уж грубо не нарушит принятые нормы поведения. Это вело к физическому и моральному одряхлению правящего класса, в особенности его верхней страты, и к общесоциальному «застою»;

Неспособность всех наших послесталинских лидеров разглядеть за ритуальным почитанием и фальшивым славословием истинное отношение к себе и намерения своих соратников поразительна. Когда партийные иерархи, прознавшие, что пенсионер Хрущев надиктовывает мемуары, вызвали его «на ковер» и стали втолковывать, что его память, как и все в стране, – достояние партии, которым он вправе пользоваться лишь с высочайшего разрешения, он долго не мог придти в себя и только повторял: «каковы мерзавцы!»²⁷. Видимо, в подобных политических системах аберрация ближнего зрения – профессиональный недуг. Прозрение, если и происходит, то лишь после отставки. Но дело, конечно, далеко не только в политической слепоте лидера и качествах правящего класса. Запас прочности советского социализма в 1950–1960-х гг. был еще очень велик. Само общество только начинало избавляться от летаргического сна, от укоренившегося в подкорке страха, от неспособности к солидарному, не иницированному сверху действию, от промывания мозгов, превращавшего людей в манкуртов. Оно еще лишь начинало преодолевать сталинистский миф, который поныне дает рецидивы.

Не было и еще одного компонента, необходимого, чтобы придать переменам силу и необратимость. В советской интеллигенции не накопилась критическая масса того фермента, который в наше время необходим для формирования низового, независимого от властей общественного движения. Вечно находившаяся под подозрением в неблагонадежности, всецело зависимая от государственной службы, государственного поощрения и наград, подвергавшаяся систематическим проработкам идеологических опричников партии, прослоенная секстами, она во многом соответствовала тому образу «образованщины», который, возможно, с излишними преувеличениями и размашистостью нарисовал А.И. Солженицын²⁸. Во всяком случае, она оказалась неспособной реализовать функцию, имманентную интеллигенции в нормальном обществе – представлять на его суд свое видение событий и задач.

Поэтому реформаторский пыл Хрущева не мог ни пробиться через многослойную бюрократию, ни опереться на конструктивную поддержку значительных масс в обществе. А для того чтобы совладать с эпизодическими антисистемными выступлениями, у власти оставались проверенные временем инструменты. Это – не в пример тому, что стало происходить в 1989–1991 гг. – наглядно показали трагические события в Новочеркасске в 1962 г. Потому-то, воспользовавшись некоторыми плодами хрущевских реформ и проведя необходимую реорганизацию и консолидацию, режим продлил свое существование после отставки Хрущева еще на 2 десятка лет. Он кое-что приобрел, чему-то научился, от чего-то освободился, но в результате, упрочившись на время, обрек себя на загнивание в известном ленинском смысле.

Хрущевский социализм, подчеркивают Попов и Аджубей, оказался вне столбовой дороги цивилизации (с. 340). Это так. Но дело обстоит еще хуже. Очень многое оказалось обратимым, даже внешне. Чиновники и ветераны, собранные на юбилей Победы в 1965 г., встретили овацией проброшенное как бы мимоходом упоминание имени Сталина в докладе Брежнева. За 10 годами противоречивых, во многом безалаберных преобразований последовали 20 лет «стабильности», которые консервировали застойные явления, гнобили страну, отторгали ее во многих сферах жизни от шагнувшего по планете прогресса. И происходило это в то время, когда, как в известной сказке об Алисе, только для того, чтобы стоять на месте, надо было быстро бежать. Система оказалась неререформируемой сверху. И даже испытав мощные удары обрушившей ее

демократической революции рубежа 1980–1990-х гг. и сменив идеологическое оформление, она показала способность к регенерации ряда своих несущих конструкций. В частности и в особенности симбиоза власти и собственности, подчинения человека и общества государству, доминирования мифов в национальном сознании²⁹.

25.05.2009

Примечания

¹ *Попов Г.* С точки зрения экономиста. (О романе А. Бека «Новое назначение») // Наука и жизнь. 1987. № 4. С подачи автора понятие командно-административной системы прочно вошло в обиход перестроечной научной и публицистической литературы.

² *Попов Г.* Ошибка в проекте. Ленинский тупик. Кн. 2. М., 2008.

³ *Ленин В.И.* ПСС. Т. 43. С. 69, 220.

⁴ Там же. Т. 45. С. 20.

⁵ Там же. С. 343–348, 383–384.

⁶ *Попов Г.* Материализация призрака коммунизма. Сталинский тупик. Кн. 3. М., 2008.

⁷ *Хрущев Н.С.* О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР. Доклад на пленуме ЦК КПСС. 3 сентября 1953 г. М., 1953. С. 4–17.

⁸ Внешняя политика Советского Союза. Документы и материалы. 1946 год. М., 1952. С. 70.

⁹ *Солонин М.* 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война. М., 2006. С. 202–250, 363–367, 493–500.

¹⁰ *Корнаи Я.* Дефицит. М., 1990 (в Венгрии книга была издана в 1982 г.).

¹¹ *Гроссман В.* Все течет // *Гроссман В.* Собр. соч. Т. IV. М., 1998. С. 360.

¹² *Орлов А.* Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк; Иерусалим; Париж, 1983. С. 131–137.

¹³ *Попов Г.* Сорок первый – сорок пятый. Одна война или три? Кн. 4. М., 2008.

¹⁴ «Некоторые ориентировочные временные рамки, в которых состоялся этот великий перелом, – включает М. Солонин, сопоставляя различные виды потерь Красной армии (убитыми, ранеными, пленными), – можно определить так: осень 1942 – весна 1943 гг.» (*Солонин М.* Указ. соч. С. 490).

¹⁵ <http://www.regnum.ru/news/1160113.html>

¹⁶ *Попов Г.* Вызываю дух генерала Власова. Кн. 5. М., 2008.

¹⁷ *Попов Г., Аджубей Н.* Пять выборов Никиты Хрущева. Кн. 6. М., 2008.

¹⁸ *Бурлацкий Ф.* Русские государи эпохи реформации. М., 1996. С. 11–130.

¹⁹ Аджубей Никита Алексеевич (1959–2007), сын А.И. Аджубей и Р.Н. Аджубей (Хрущевой).

²⁰ *Таубман У.* Хрущев. М., 2005. С. 140–141, 187, 193, 254.

²¹ *Хрущев Н.С.* Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 кн. Кн. 2. М., 1999. С. 166–176; *Таубман У.* Указ. соч. С. 274–282.

²² Правда. 1953. 7 марта.

²³ *Таубман У.* Указ. соч. С. 331.

²⁴ Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 27 января – 5 февраля 1959 года. Стенографический отчет. Т. 1. М., 1959. С. 105.

²⁵ Правда. 1962. 9 сентября; 1964. 17 августа.

²⁶ *Микоян А.* Так было. М., 1999. С. 594–595.

²⁷ *Хрущев С.Н.* К истории создания и публикации воспоминаний Н.С. Хрущева (1967–1990) // Н.С. Хрущев. Время. Люди. Власть. Кн. 2. С. 642–645.

²⁸ *Солженицын А.И.* Образованщина // Из-под глыб. Paris, 1974. С. 217–259.

²⁹ В полном объеме моя полемика с Г.Х. Поповым представлена в брошюре, изданной Международным университетом в Москве: *Шейнис В.Л.* Русский XX век. Историческое повествование от Гавриила Попова. М., 2010.